

I

Пробило девять, а зал театра варьете был еще пуст. Лишь кое-где на балконе и в партере терпеливо ожидали начала немногочисленные зрители, затерявшиеся среди гранатового бархата кресел в слабом сумеречном свете приспущенной люстры. Громадное алое пятно занавеса расплывалось во мраке; сцена безмолвствовала, рампу еще не зажигали, не расставили по местам и сдвинутые в беспорядке пюпитры оркестрантов. Только в райке, уютившемся под расписным плафоном, где обнаженные девы и младенцы порхали в небесах, давно позеленевших от испарений газа, слышался сдержанный непрерывный гул голосов, смех и выкрики — там уступами уходили ввысь к большим круглым окнам в золоченых рамах ряды чепцов и каскеток. В ложах время от времени появлялись билетерши и, с озабоченным видом держа билеты в руке, пропускали вперед очередную пару, которая чинно садилась потом на свои места: мужчина во фраке, при нем дама — тоненькая, затаенная в корсет, с томно блуждающим взором.

В креслах показались двое молодых людей и, не присаживаясь, принялись разглядывать зал.

— Ну что я тебе говорил, Гектор! — воскликнул тот, что был постарше, высокий брю-

нет с усиками. — Чего ради ты притащил меня так рано? Даже сигару не дал докурить.

Мимо прошла билетерша и фамильярно бросила:

— Верно, господин Фошри, начнут уж никак не раньше чем через полчаса.

— Зачем же писать в афишах, что начало в девять, — буркнул Гектор, досадливо кривя свое длинное худое лицо. — Еще сегодня утром Кларисса уверяла меня, что начнется в девять, а ведь она знает, сама занята в пьесе.

Они прервали беседу и, закинув головы, постарались проникнуть взором в полумрак лож, но зеленая обивка, казалось, еще больше сгущала тени. Внизу, под галереей, утопали в полной мгле ложи бенуара. В ложе балкона сидела одна-единственная зрительница — какая-то полная дама, тяжело опиравшаяся на бархатный барьер. Справа и слева от сцены, между высокими колоннами, еще пустовали литерные ложи, задрапированные занавесями с длинной бахромой. Белизна и позолота зала, оттененные нежно-зелеными тонами, еле проступали сквозь легкую пелену света, льющегося из большой хрустальной люстры, где газовые рожки только еще начинали разгораться.

— А ты достал ложу для Люси? — спросил Гектор.

— Достал, но с каким трудом! — ответил его спутник. — Не беспокойся, Люси раньше времени не явится. — Он подавил зевок и после минутного молчания добавил: — Тебе повезло, ты ведь еще никогда на премьерах не бывал... «Белокурая Венера» наверняка будет гвоздем сезона. О ней уже целых полгода трезвонят. Ах, дружок, какая музыка! Шик!.. Борденав, а он в таких делах знаток, недаром при-
4 берег пьесу для выставки.

Гектор выслушал его слова с благоговейным вниманием, потом спросил:

— А эта Нанá, новая звезда, которая играет Венеру, — ты ее знаешь?

— Господи! И ты туда же! — воскликнул Фошри, воздевая к небесам руки. — С самого утра меня допекают этой Нана. Я нынче встретил человек двадцать, и все как сговорились: Нана да Нана!.. А я почему знаю! Неужели я обязан помнить всех парижских девок?.. Нана — новое открытие Борденава. Этим все сказано!

Он замолчал, успокоился. Но вид пустого зала, тусклый свет люстры, какое-то почти церковное благолепие — благолепие храма, где человек невольно переходит на шепот, боится хлопнуть дверью, — снова вывели его из равновесия.

— Ну нет уж, — заявил он неожиданно, — с меня хватит! Лично я ухожу. Может, нам посчастливится обнаружить внизу Борденава и даже узнать кое-какие подробности.

В огромном вестибюле, выложенном мраморными плитами, у контроля уже начали толпиться зрители. Сквозь распахнутые двери видны были бульвары, где под высоким небом апреля шла своя особая жизнь с жаркой суতোлкой и сверканием огней. Стук карет резко обрывался у подъезда, громко хлопали дверцы; зрители по двое, по трое входили в вестибюль, задерживались у контроля, поднимались по расположенной в глубине вестибюля лестнице, расходившейся направо и налево двумя маршами; на ступеньках с умыслом медлили, играя гибкой талией, дамы. В беспощадном свете газа, среди мертвенной наготы вестибюля, которому жалкие колонны в стиле ампира придавали

сходство с храмом, воздвигнутым из папье-маше, бросались в глаза длинные афиши, где на желтом фоне огромными черными буквами выделялась надпись «НАНА». Мужчины останавливались и впивались глазами в афишу; уже прочитавшие толпились в дверях, загораживая проход, а у билетной кассы толстяк с широким, гладко выбритым лицом грубо огрызнулся в ответ на просьбы желающих получить билетик.

— Вот он, Борденав, — сказал Фошри, спускаясь по лестнице.

Но директор уже заметил его и крикнул снизу:

— Хорош, нечего сказать! Где она, обещанная статейка? Открываю утром «Фигаро», и хоть бы слово!

— Да подождите, — отбивался Фошри. — Надо сначала посмотреть вашу Нана, а потом уже о ней писать... Кстати, я вам ровно ничего не обещал.

Желая положить конец пререканиям, он представил директору своего кузена Гектора де ла Фалуаза, прибывшего в Париж с намерением завершить здесь свое образование. Директор бросил на юношу быстрый оценивающий взгляд, а Гектор в волнении уставился на него. Так вот каков он — знаменитый Борденав, владелец труппы дрессированных девиц, их тюремщик, неистощимый поставщик сенсационных новинок, вот он, этот циник с замашками жандарма: орет, брызжет слюной, хлопает себя по ляжкам. Гектор решил, что обязан начать разговор с какой-нибудь любезной фразы.

— Ваш театр... — произнес он медовым голоском.

Но Борденав прервал его бесцеремонным словечком, как человек, не склонный приукрашивать истину:

6 — Скажите лучше — мой бордель.

Фошри одобрительно фыркнул, а шокированный Фалуаз, поперхнувшись комплиментом, постарался сделать вид, что оценил остроту. Тут директор бросился здороваться с театральным критиком, чьи фельетоны имели немалый вес. Когда он снова подошел к молодым людям, Фалуаз уже успел оправиться от смущения. Пуще всего он боялся, что будет мяться, и тогда в нем признают провинциала.

— Мне говорили, — начал он, не желая сдаваться, — что у Нана прелестный голос.

— Это у нее-то? — воскликнул директор, пожимая плечами. — Визжит как драная кошка!

Юноша поспешил исправить свой промах:

— Зато великолепная артистка.

— Это она-то?.. Тумба тумбой: ни рукой, ни ногой двинуть не умеет.

Легкая краска проступила на скулах Фалуаза. Он окончательно отказывался что-либо понимать, а потому пробормотал:

— Ни за какие блага мира я не пропустил бы нынешней премьеры. Мне известно, что ваш театр...

— Мой бордель... — снова поправил его Борденав с холодным упрямством человека, которого не так-то легко сбить с его позиций.

Тем временем невозмутимый Фошри разглядывал входивших дам. Он поспешил на помощь кузену, который стоял разинув рот, не зная, рассмеяться или обидеться.

— Ну что тебе стоит порадовать Борденава! Называй его театр, как он тебя просит, раз ему так хочется... А вы, дружок, бросьте нас морочить. Если ваша Нана не умеет ни петь, ни играть, спектакль просто-напросто провалится. Впрочем, боюсь, что так оно и будет.

— Провалится! Провалится! — завопил директор, багровея от негодования. — Да кто вам сказал, что женщина должна уметь петь и играть! Ах, детка, ты, как я погляжу, просто дурак... У Нана есть нечто другое, и это-то другое все заменит, уж поверь мне. У меня на такие вещи нюх, так вот этого другого у Нана хоть отбавляй, или я, старый болван, ничего не стою... Вот увидишь, сам увидишь: стоит ей выйти на сцену, и весь зал ахнет.

Он вскинул к потолку свои огромные ручищи, которые тряслись от восторга; облегчив душу, он понизил голос и пробормотал себе под нос:

— Да, она далеко пойдет, далеко, уж поверьте... Кожа-то, кожа какая...

И так как Фошри не отставал, Борденав снизошел и сообщил кое-какие подробности в столь откровенных выражениях, что Гектор де ла Фалуаз сконфузился... По словам Борденава, Нана он знал раньше и решил дать ей ход. Кстати, он тогда как раз искал Венеру для новой пьесы. Лично он не любитель долго возиться с новенькими, пускай публика получит свое удовольствие. Ну и хлебнул же он горя, когда эта рослая девица появилась в их заведении, — чуть бунт не поднялся. Роза Миньон, главная его звезда: и поет прекрасно, и играет отлично, — совсем разъярилась, почуяв соперницу: каждый божий день грозит бросить его на произвол судьбы. А с афишами-то что было, боже мой! В конце концов он велел набрать имена обеих артисток — одинаково крупным шрифтом. Пусть только оставят его в покое. А если кто-нибудь из его девочек, как он именовал своих артисток, скажем, Симона или Кларисса, — заартачится, он, не беспокойтесь, сумеет дать им пинка пониже спины. Иначе от них житья не

будет. Он, слава богу, перевидал их на своем веку, знает им цену, этим шлюхам!

— Смотрите-ка! — прервал он свой рассказ. — Наши неразлучные пришли — Миньон со Штейнером. Роза, знаете ли, порядком прискучила Штейнеру, ну вот муж за ним и ходит по пятам — боится, как бы тот не дал тягу.

От газовых рожков, зажженных на фронтоне театра, по тротуару пролегла светлая полоса. Два ярко-зеленых дерева четко вырисовывались на фоне неба; свет газа придавал колонне неестественную белизну, и можно было, как днем, издали прочесть афишу; а там, еще дальше, огни буравили сгустившийся мрак бульваров, где смутно угадывалось непрерывное движение толпы. Подходившие к театру мужчины не спешили войти и, остановившись у входа, беседовали, докуривая сигару; газовые рожки окрашивали их лица в синеватый цвет, и на асфальт ложились кургузые тени. Миньон, чересчур высокий, чересчур широкоплечий, с четырехугольным, как у ярмарочного борца, черепом, легко прокладывал в толпе дорогу, волоча за собой банкира Штейнера, низенького, пузатенького, круглолицего, с седеющей бородкой.

— Ну так вот! — обратился Борденав к банкиру. — Вчера вы как раз и видели ее у меня в кабинете.

— Ах, значит, это она! — воскликнул Штейнер. — Я так и думал. Но мы с ней столкнулись уже на пороге, и я даже не успел ее как следует разглядеть.

Миньон прислушивался к разговору, не подымая опущенных век, нервическим жестом вертя вокруг мизинца перстень с огромным бриллиантом. Он сразу понял, что речь идет о Нана. Но Борденав так живо набросал портрет своей дебютантки,

что в глазах банкира вспыхнул огонек, и тут Миньон решил вмешаться.

— Да бросьте, милый, самая обыкновенная потаскушка! Публика ей еще покажет... Штейнер, голубчик, моя жена ждет вас у себя в уборной.

Он попытался было увести его силой, но Штейнер не желал расставаться с Борденавом. Прямо перед ними зрители, выстроившись цепочкой, напирали на контролеров, и среди нестройного гула голосов все чаще слышалось «Нана» — два коротких певучих слога. Один мужчины, толпившиеся у афиш, громко скандировали это имя, другие бросали на ходу как вопрос, а женщины с тревожной улыбкой на устах повторяли тихонько, с удивлением. Никто не знал Нана. Откуда она взялась, эта самая Нана? Шепотом, на ушко друг другу передавались шуточки, анекдоты. Само имя уже звучало как уменьшительно-ласкательное и становилось интимным в любых устах. Достаточно было произнести его вот так вслух, и толпой овладевало веселое благодушие. Всех охватила лихорадка любопытства, того особого парижского любопытства, которое по силе можно сравнить только с приступом горячки. Всем хотелось видеть Нана. В толчее какой-то даме оторвали оборку, какой-то господин потерял шляпу.

— Нет, это уж слишком! — завопил Борденав, когда человек двадцать надели на него с вопросами. — Сами увидите... А я бегу, меня ждут.

Он исчез, в восторге от того, что сумел разжечь свою публику. Миньон, пожав плечами, напомнил Штейнеру, что Роза давно ждет их — хочет показать свой костюм для первого акта.

— Смотри, вон Люси выходит из кареты, — сказал Фалуаз, обращаясь к Фошри.

Это действительно оказалась Люси Стюарт, маленькая дурнушка лет под сорок; шея у нее была слишком длинная, личико помятое, губы неприятно крупные, но необычайное изящество и живость движений придавали ей какое-то особое обаяние. Она привезла с собой Каролину Эке и ее матушку; Каролина поражала холодной красотой, а матушка, весьма достойная особа, походила на чучело.

— Пойдешь с нами, я тебе оставила место, — командовала Люси, обращаясь к Фошри.

— Нет уж, увольте! Оттуда ничего не видно, — ответил он. — У меня кресло, предпочитаю сидеть в партере.

Люси взорвалась. Значит, он просто боится показываться с ней? Потом, так же внезапно успокоившись, заговорила о другом:

— Почему ты мне не сказал, что знаешь Нана?

— Я? Да я ее в глаза не видал!

— Ох, так ли? А меня уверяли, будто ты с ней спал.

Но стоявший рядом Миньон, приложив к губам палец, призвал их к молчанию и в ответ на вопросительный взгляд Люси прошептал, показав на молодого человека, проходившего мимо:

— Ее дружок!

Присутствующие взглянули на молодого человека. Он был весьма недурен собой. Оказалось, Фошри его знает: это Дагне. Мальчик уже успел просадить на женщин миллиона три, и сейчас крутится на бирже, чтобы заработать на букет для какой-нибудь очередной дамы или угостить ее обедом. Люси объявила, что у него прелестные глаза.

— А вот и Бланш! — воскликнула она. — Кстати, Бланш мне и сказала, что ты спал с Нана.

Бланш де Сиври, рослую блондинку с хорошеньким, но преждевременно расплывшимся

личиком, сопровождал хилый, очень выхоленный и очень элегантный господин.

— Граф Ксавье де Вандевр, — шепнул Фошри на ухо Фалуазу.

Граф и журналисты обменялись рукопожатиями, а Бланш и Люси, не теряя времени, вступили в бурное объяснение. Одна была в розовом, другая — в голубом; своими широкими юбками в воланах они загородили весь проход, и имя Нана произносилось обеими дамами так часто и так громко, что к ним уже стали прислушиваться. Граф де Вандевр увел Бланш. Но теперь имя Нана звучало уже во всех уголках вестибюля, накаляя страсти заждавшихся зрителей. Почему, в самом деле, не начинают? Мужчины то и дело вынимали из жилетных карманов часы, опаздывающие выскакивали на ходу из карет, зрители, толпившиеся на улице, потянулись к дверям, а случайные прохожие, вступая в полосу света на опустевшем тротуаре, замедляли шаги, вытягивали шею, стараясь заглянуть в вестибюль. Какой-то мальчишка, насвистывая песенку, пробежал было мимо театра, но вдруг остановился перед афишей, хрипло выкрикнул: «Эй ты, Нана!» — и пошел дальше развинченной походкой, шаркая стоптанными башмаками. Раздался взрыв смеха. Вполне пристойные с виду господа повторяли вслед за сорванцом: «Нана, эй, Нана!» Началась давка у контроля, вспыхнул скандал, голоса, призывавшие Нана, требовавшие Нана, сливались в нестройный гул; толпа, как всякая толпа, была рада поддаться любой глупой забаве, любому порыву изменной чувственности.

Но над этим содомом внезапно послышалось треньканье звонка, возвещавшего о начале спектакля. Гам переплеснулся на бульвар: